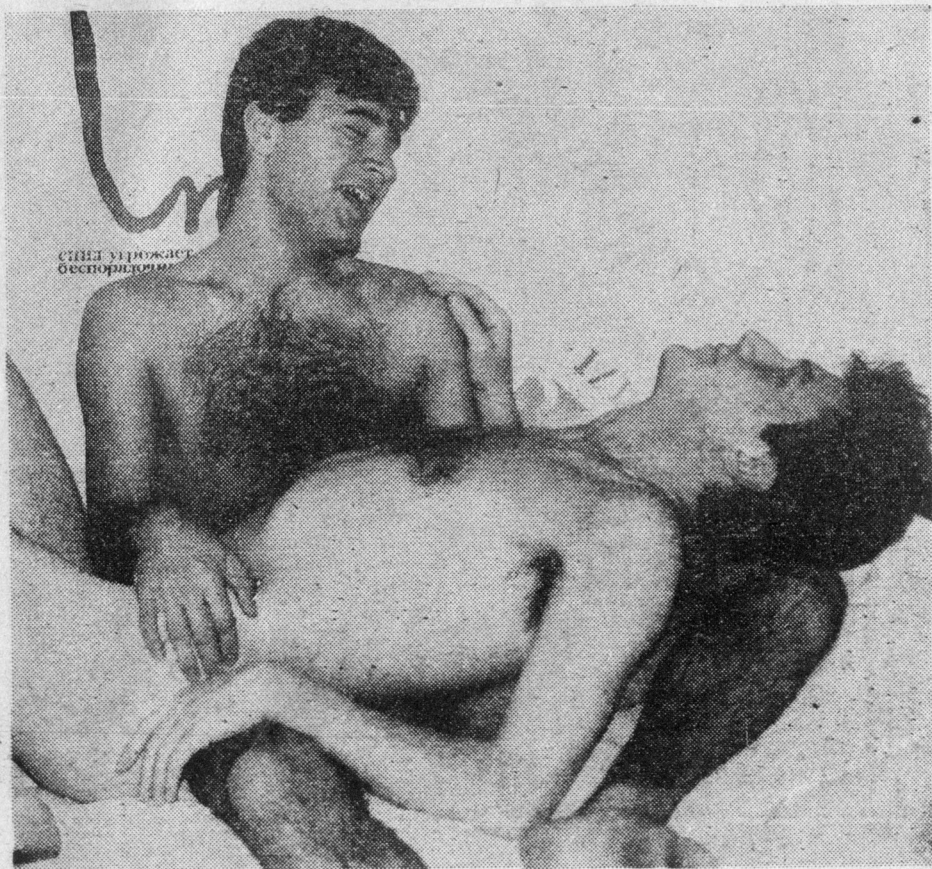


иллюстрированное
литературное приложение
к газете «1 / 10»

1 / 9

№ 2'92



Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ
и надеюсь, что это взаимно...



Борис Юрлов

ДВЕ ЖИЗНИ, ДВЕ СУДЬБЫ

(Окончание. Начало см. в №1)

3.

*И рыдая о милых близях,
В заревой канпель и шелк
Душу Руси на крыльях сизых
Журавлиный возносит полк:*

Гражданская война, голод, холод, многие деятели культуры уезжают или их изгоняют из Отечества, политическое удушье, нищета — все эти события заставляют Клюева уехать в Вытегру, где он живет со своим новым увлечением Николаем Архиповым. Клюев пишет письмо Есенину, он не отвечает, а в частной переписке признается своему знакомому, что порвал с Клюевым. В 1920 году Клюев пишет еще одно письмо, где просит помощи и говорит, что умирает. Есенин едет к нему и привозит его к себе. Но прежней близости не происходит. Слишком стремительно летит жизнь, заставляя меняться людей. Окружение Есенина всячески принижает значение и талант Клюева, подогревая грандиозные притязания Есенина как единственного лидера всей русской поэзии. Но большая критика по-прежнему ставит Клюева на первое место, а еще не разгромленное крестьянство считает его своим знаменем. Но травля в печати усиливается, поскольку Клюев пошел гораздо дальше Есенина в неприятии советского строя, и его сопротивление было гораздо действеннее и опаснее есенинского для благополучия режима:

*Есть в Смольном потемки трущоб
И привкус хвои с костяникой,
Там нищий колодовый гроб
С останками Руси великой.*

Находясь с Вытегре, голодный и затравленный, Клюев становится не

только политической, но и идеологической силой, с которой нельзя не считаться. Все это разжигало зависть Есенина к Клюеву. Прежние поклонение сменяется враждой и мальчишески неграмотно-самоуверенным желанием принизить старшего брата. Но связь их, как ни странно, не прерывается, и все это время они продолжают переписываться. Письма эти, спокойные и заботливые, сильно контрастируют с той жесткой полемикой, которая идет в жизни.

В начале 1922 года выходит книга Клюева с поэмой «Четвертый Рим». Эта поэма — сугубо личный, политический и поэтический и, отчасти, исторический выпад против Есенина. Поэма демонстративно посвящена другому близкому человеку, с которым Клюев делил голод и невзгоды. В «Четвертом Риме» живет не индустриальная Русь, Клюев предает ее анафеме, а обетованная страна матери сырой Земли и бессмертия. В этой поэме, как ни в одной другой, сильны и гомосексуальные элементы.

Друзья встретили поэму восторженно. Большевицкая критика писала: «За песни об этой темной стихии мы должны быть Клюеву благодарны: врага нужно знать и смотреть ему в лицо». Итак, Клюев — враг для власти предрержащих, и все последующие действия государства по отношению к нему соответствуют этому ярлыку.

Есенин, как отмечают литературоведы, был в бешенстве и, как всегда, старался принизить значение Клюева и его творчества. В 1922 году выходят еще две книги Клюева «Львиный хлеб» и «Мать суббота». Последняя книга стала вершиной русской поэзии послереволюционных лет. Вся поэма пронизана небывалым в русской поэзии прославлением матери. Ольга Форш писала о ней: «...Никогда, может быть, не было такого возвеличивания начала женского, идеи женской — церковью, философией, бытом, хитро сведенной к метафизическому и всякому положению мужчины. В этой мужицкой, хлыстовской, глубоко русской концепции впервые женщина возносилась в единицу самостоятельной ценности, как мать. Прочее все — дама, роза, мистика, дева — отбрасывается как баловство...»

Сейчас все споры о том, кто главнее и лучше, уже в прошлом, а тогда на все выпады Есенина Клюев отвечает своим подвижническим трудом: стихами, поэмами, находящими признание у читателей. Вот еще одно стихотворение Клюева, в котором он отвечает Есенину на его порой несправедливые упреки и выпады:

*В степи чумацкая зола,
Твой стих гордынею остужен.
Из мыловарного котла
Тебе не выловить жемчужин.*

*И груз кобыльих кораблей —
Обломки рифм, хромые стопы,
Не с коловратовских полей
В твоем венке гелиотропы.*

*Их поливал Мариенгоф
Кофейной гущей с никотином,
От оклеветанных Голгоф
Тропа к иудиным осинам!*

*Скорбит рязанская земля,
Седея просом и гречихой,
Что соловьиный саг трепля,
Парит есенинское лихо.*

*Словесный брат, внемли, внемли
Стихам — берестяным оленям,
Олоонецкие журавли
Христосуются с голубенем.*

*Супруги мы. В живых веках
Заколосится наше семя,
И вспомнит нас младое племя
На песнотворческих пирах.*

Итак, Клюев — враг. Печатается он крайне редко, на это жить нельзя, живет случайными подачками от союза поэтов, от старых друзей и знакомых. Много странствует, питается, чем Бог послал, но долго отказывается продать иконы своего домашнего киота. А иконы у него замечательные, древние, дониконовские. Как-то в Петрограде у собора Спаса на Крови, что на Екатерининском канале, встретил Клюева Б.Филиппов, и вот что сказал тот ему тогда: «Хожу по Руси... И в Кирилловом был, и в Феропонтовом побывал... А путь-то по каналу монастырскому как предивен! А башни монастырские. Отлетает Русь, отлетает, сынок... отлетает... Вот и спешу походить-поездить — последнее материнское благословение и последний вздох Руси принять. А ты? Неужели и фресок Дионисия еще не видел? Как же можно?»

В 1923 году Есенин решил осуществить свою давнишнюю мечту начать издавать журнал. Он едет в Питер за Клюевым, стараясь привлечь его к сотрудничеству. Это была последняя попытка их

совместной деятельности, и, хотя она не удалась, друзьями они все-таки остались.

4.

*У свежей могилы любви
Орел над стремниною, внове
Пьет сердце, земную юдоль,
Как юны холмы и дубравы...
Он снится мне, выстрел кровавый,
Старинная рана и боль!*

Н.Клюев

Петроградская комната Клюева была похожа на келью старовера или на горницу боярина XVII века. Да и сам хозяин этой кельи идеально вписывался в ее старинный интерьер. Так и возникает перед глазами образ Клюева с длинной староверческой бородой, перебирающего тонкими пальцами страницы старинной рукописной книги, а сзади него древние дониконовские иконы и цветные блики разноцветных лампад. Таким он и изображен на картине Анатолия Яра, художника, ставшего, наверное, последней привязанностью поэта.

Ночью 27 декабря 1925 года покончил жизнь самоубийством в гостинице «Англетер» Сергей Есенин. Жизненные пути поэтов разошлись давно, но духовная связь не прерывалась никогда. Есенин прекрасно понимал, несмотря на огромный свой успех, что он не ровня Клюеву. В глубине души он прекрасно сознавал, в чем Клюев превосходит его. Несмотря на то, что часто ему завидовал, ругал, давал уничижительную характеристику, в каждый свой приезд в Петроград он шел к Клюеву, тащил его к себе и читал стихи, внимательно следя за реакцией друга. Нравится ли? О последней встрече Есенина и Клюева в день самоубийства существует несколько версий, одну из них мы предлагаем вашему вниманию. Накануне рокового дня в 6 вечера Есенин встретился со своим знакомым, Устиновым, у последнего на квартире, сидели до рассвета. К ним присоединился Эрлих, и они пошли разыскивать Клюева. Есенин объяснял: «Понимаешь? Я его люблю! Это мой учитель. Ты подумай: учитель! Слово-то какое!» Клюева нашли не сразу. Вернулись в гостиницу. Вслед за ними пришел

художник Мансуров, постоянный спутник Клюева того периода. Есенин читал стихи, когда кончил, все долго молчали. Он потребовал, чтобы Клюев сказал, нравятся ли ему стихи. Клюев долго колебался, потом сказал: «Я думаю, Сереженька, что если бы эти стихи собрать в одну книжечку, они стали бы настольным чтением для всех девушек и нежных юношей, живущих в России». Есенин помрачнел. Ушел Клюев в четвертом часу утра, обещая вернуться вечером, но не пришел. После происшедшего Клюев рыдал у гроба своего синеглазого жаворончка. О силе этого горя мы можем догадаться, прочитав «Плач о Сергее Есенине», написанный им в то время. Вот четыре строфы из него:

*Рожоное мое дитяtko, матюжник милый,
Грoбовая доска — всем грехам покрышка,
Прости меня, бoрoвa, что кабаньей силой
He вcпoил я тебя до златогo излишка!*

*Златой же угел — быть пчелкой жировой,
Блюсти тайники, медовые срубы.
Да обранил ты хазарскую гривну — побратимо слово,
Целовать лишь ковригу, солнце да цвет голубой.*

*С тобою бы лечь в честный гроб,
Во желты пески, да не с веревкой на шее!
Быль иль не быль то, что у русских троп
Вырастают цветы твоих глаз синее?*

*Только мне горюну — горынь-трава...
Oвдoвeл я без тебя, как печь без памьяльца,
Как без Настеньки горенка, где шелки да канва
Караулят пустые, нешитые пьяльца!*

Позже, в 1926 году, Клюев участвует в вечере памяти Есенина. Это событие ярко отражено в воспоминаниях О.Форш. В зале собралась разношерстная публика. В отличие от других Клюев не умилялся и не пел дифирамбов. Он прочитал свои стихи, а потом, имитируя пьяную речь, прочитал стихи Есенина. Публика была шокирована и возмущена. Когда же его спросили, как он мог так, он ответил: «Помянуть захотелось. Я ведь плану о нем. Почто он меня не слушал? Жил бы. И ведь знал я, что так он кончит. В последний раз виделись, знал — это прощальный час. Смотрю, чернота уж всего облепила... Когда суд над человеком совершается, в него метаться нельзя. Я пошел домой. Не спал ведь, плакал...»

После смерти Есенина Клюев остается один, его объявляют идеоло-

гом класса, подлежащего уничтожению. Подминая под себя личность, тоталитарная система пыталась регламентировать интимные чувства человека и его личную жизнь. В 1935 году В. Васильев в разговоре с редактором И. Гронским мимоходом коснулся некоторых сторон интимной жизни Клюева, которые не укладывались в общепринятые рамки. По собственному признанию И. Гронского, он сразу же после разговора позвонил Ягоде и потребовал выслать Клюева. Официально же Клюев был арестован по обвинению в кулацкой агитации, раепро- странении антисоветских поэм «Погорельщина», «Хулитель искусства», контрреволюционных стихов.

После прохождения через ад предварительного заключения он был сослан в Нарымский край. Из его переписки мы узнаем, что жил он в ужасных условиях. Голодный и больной, он работал над окончанием «Песни о Великой матери» и стихами, выше которых никогда не поднимался.

Ссылка, аресты, обыски, допросы сломили Клюева, он пал духом, и в 1935 году написал поэму «Кремль», но это не помогло, он отсидел весь срок до августа 1937 года.

По официальной версии, он выехал из Томска в Москву и скончался от сердечного приступа на одной из станций Сибирской магистрали. Но существует и другая, более правдоподобная версия: его направили в Москву для пересмотра дела и без суда и следствия расстреляли на ближайшей станции, такой способ расправы был широко распространен.

Из автобиографии Николая Клюева: «Из всех земных явлений я больше люблю огонь. Любимые поэты — Роман Сладкопевец, Верлен и царь Давид. Самая желанная птица — жаворонок, время года — листопад, цвет — нежно-голубой, камень — сапфир. Василек — цвет мой, флейта — моя музыка».

И если прав М. Булгаков, говоря, что каждый после смерти получает по своей вере, то, возможно, два поэта давно встретились в другом мире и бродят вдвоем по залитому солнцем пшеничному полю. Они вдыхают вольной грудью свежий ветер божественного мироздания, читают друг другу стихи, а над ними поет жаворонок, и откуда-то доносятся звуки флейты. В задумчивых глазах Есенина отражается вечный сапфировый свод, в котором парит орел — символ вольной и вечной поэтической стихии и великой Любви.



В этом номере мы заканчиваем публиковать отрывки из книги Димы Лычева «Мистия». Она будет издана за рубежом в 1993 году.

О выходе книги на языке оригинала (если это будет возможно) мы сообщим на страницах «1/10».

2.

Пришли мы в какой-то военный городок. Когда стало светло, я начал искать того, о ком думал последнее время. Тщетно. Группа вместе с Аполлоном откололась где-то по дороге, и я больше никогда его не видел. Безрезультатные поиски и жуткий холод приближали отметку моего настроения к отметке температуры воздуха. Уже ближе к вечеру меня вызвали на медкомиссию, которую специально

устроили для особо больных. Спросили, на что я жалуюсь. Не помню, что я им говорил, но если бы я сказал правду, боюсь, меня бы не поняли. Определили меня учиться на сержанта. «Фигушки, — подумал я тогда, — выучу на командира, не буду таким, как тот было сержант. Меня все будут слушаться за то, что я не буду никому отказывать».

Поздним вечером нас привезли в огромный военный город. В казарме нас встретили с большим интересом и пониманием: «Вешайтесь, будем вас гонять». Вслед за этим пожеланием последовала команда ложиться спать.

Наутро разбудили очень рано, я это понял по крошечной темноте за окном. И чего этим дуракам не спалось, не знаю. Представили нам наших командиров-сержантов и главного командира-лейтенанта. Среди сержантов я выделил

Антоня, которого почему-то нужно было называть «товарищ гвардии старший сержант». Хотелось его просто обнять и сказать: «Антошка, бросай командовать, пошли трахаться». Это был высокий стройный шатен с толстой нижней губой. Военные штаны в обтяжку выдавали в нем недюжинную мужскую силу. После того, как все это рассмотрел, я решил исполнять только его приказы. Он-то как раз и был самым джентльменом по отношению к вновь прибывшим. Получили мы форму, привели ее в порядок. К вечеру начались первые занятия, которые мне сразу не пришлось по душе. Сержанты тренировали нас в быстром одевании и раздевании. Я старался, как мог, особенно раздеваться. Тем, кто не успевал застегивать все пуговицы, их просто-напросто отрезали. Я никак не мог понять, зачем это все делается. Все ужасно злились на сержантов. Еще бы, половина нашего взвода после отбоя

осталась пришивать пуговицы. Лопцы смачно матерились и усердно работали иглоками, а потом довольные дожились спать.

Теперь немного о нашем взводе. Разумеется, не о взводе как таковом, а о тех тридцати, кто возымел честь там оказаться. Мое внимание привлекли несколько москвичей, а также эстонец Рейно и латыш Янис. Какие же лапочки были эти балты! Прямо бери и трахай!

Кровать моя была рядом с кроватью высокого и стройного Антона старшего сержанта. Спал он спокойно. Чувствовалось, что срок его службы подходит к концу, каким-то величественным и надменным он был даже во сне. Я не заметил, как придвинулся к нему очень близко настолько, что стал чувствовать тепло исходящее от него. Боясь пошевелиться, я заснул.

Разбудил меня Антон, когда гаркнул «Подъем!» прямо над ухом. Потом он приказал выходить на улицу и там строиться на физзарядку. Этого только мне и не хватало! Мало того, что глаза слипаются, так еще придется бегать по городку в тяжелых сапогах. Побежали. Бежали долго-долго, я даже подумал, что это никогда не кончится. Кончилось. Как только я почувствовал около себя кровать, единственным желанием было совокупить ее со своей задницей. Только я это сделал, как раздался голос сержанта с редкой фамилией Иванов, который вежливо предупредил, что так поступать нехорошо. Это предупреждение он сопровождал таким семизатжным матом, что у меня и в мыслях не было усомниться в его правоте. Пошел я умываться. Народу в умывальнике было много, вся наша рота. Я встал в очередь и принялся рассматривать доснявшиеся от пота торсы. Своей очереди я все же дождался, правда, когда я пришел в казарму, услышал о себе еще больше лестного. Самым ласкающим слух словом было многозначитель-

ное «каззел». Это Антон мне удружил. Все дружно зашипели, ибо я всех явно задерживал. Многозначительное слово повторили еще человек десять. Я быстро заправил кровать, но сделал это не так, как учили. А может быть, и так, но сержант Иванов резко разбросал все в радиусе трех метров. Я снова повторил свою процедуру, он — свою. Подошел Антон и вновь все объяснил мне наглядно. Иванов не решился покуситься на сооруженное Антоном чудо. Мы пошли завтракать. В столовой было очень много народу, и совсем не пахло вкусной пищей. Я никогда не был в свинарнике, но почему-то невольно сравнил запахи. Поел немного блюда, слегка напоминавшее какую-то кашу. Стало тошно и противно. Я посмотрел на сослуживцев. Кто-то не морщась уплетал эту гадость, кто-то величественно ковырялся в ней ложкой. Обед был немного получше, я даже ненадолго почувствовал, что наелся. Сразу после обеда нас выгнали на плац и заставили маршировать. Боже мой, заставлял бы кто-нибудь меня сейчас повторить этот подвиг! В тяжелой шинели и неудобных сапогах я пытался чеканить шаг, натирая себе мозоли. Шагая, я думал лишь о том, чем и как поскорее заболеть. Память меня редко подводила, и я вспомнил, что в медицинской карте, которую мне выдали на комиссии, было написано, что-то про мое больное сердце. Желание заболеть подстегнуло еще и то, что сержанты бессовестно издевались над нами после отбоя, заставляя то ложиться в кровать, то резко вскакивать и одеваться. Я разработал стратегический план.

Утром снова нас построили на зарядку, и мы побежали. По дороге я еще вчера заметил здание, о котором мне сказали, что это санчасть. Когда мы бежали обратно, со мной случился обморок. Все было, как в тяжелых случаях эпилепсии. Первым ко мне подбежал Антон, похлопал по щекам и приказал немедленно нести ме-

ня в санчасть, благо, до нее было рукой подать. Подействовало несколько таблечек, которые я захватил из дома: доктор сразу определил меня в санчасть.

Я проснулся в тесной палате, битком набитой кроватями в два яруса. Первым делом нажаловался врачу на свое пошатнувшееся здоровье и пригрозил умереть, если медицина не найдет способа уволить меня из армии. Доктор все внимательно выслушал и, не сказав ни слова, ушел. Я гляделся и, увидев, что я не один, стал отихоньку рассматривать товарищей по несчастью. Их набралось в палате человек двенадцать, и, как ни странно, не было ничего примечательного. От досады заснул. Меня разбудил белокурый шупенский сержант-фельдшер с милой мордашкой, который пришел делать мне кол. Впервые я применил задницу не по назначению. Я спросил, как его зовут, на что он ответил, что его следует называть оварищем сержантом. Но, видимо, в оных глазах было столько теплоты и ладства, что он тут же добавил: «Юра». Обменялись любезностями, после чего я спросил его измерить давление, на что он посоветовал зайти к нему в фельдшерский кабинет через полчаса. «Уж от какого красавчика у меня не только давление поднимется» — подумал я и стал читать минуты.

Через двадцать минут я спустился к Оре в кабинет. Его я застал склонившимся за шахматной доской. Он же успел сделать всю свою работу и целиком отдался решению шахматной задачи. Увидев меня, Юра не смог скрыть ошибку, но тут же отметил, что я пришел десять минут раньше. Потупив глазки, скромно извинился и сел на стул, вытянув руку и опрокинув при этом черную ладью. Давление оказалось нормальным, ладья встала на свое место. Я предложил сержанту сыграть пару партий в шахматы и без труда их выиграл, после чего помог ему решить мучившую его задачу. Завязался разговор. Сначала мы

долго говорили о шахматах. Я даже успел приврать, что проиграл Карпову в сеансе одновременной игры только на сто двадцать каком-то ходу. Восхищению Юрки провинциала не было предела. Поговорили о Карпове. Я вскользь упомянул о том, что он гомосек, хотя такими сведениями и не располагал. Как бы кстати я спросил, как в армии борются с таким злом, как мужеложство. Юра в недоумении пожал плечами и сказал, что не встречал ни одного гомосека. Тут уж буйству моей фантазии не было предела. Я ему такого нарасказал! Правда, не про себя, как бы. По блеску его глаз я все понял, остальное было делом техники. Но, тут, откуда ни возьмись, появился Юркин шеф, мой лечащий врач. Разговор перевели на другую тему, и обнаружилось, что я неплохо пишу каллиграфом. На это врач предложил мне стать по совместительству «придворным художником» и тотчас же начать писать стенгазету. Я с радостью согласился, прикинув, что у меня будет масса времени для общения с Юриком.

Наступил вечер. Я мирно пошаривал в своей кроватке, когда зашел Юра с пачкой разноцветных фломастеров. Сердце мое бешено забилося, когда я спускался по лестнице, ведущей в фельдшерскую. Дверь изнутри закрылась на ключ. Между мной и Юрой была лишь пачка фломастеров. Юрик попытался вручить ее мне, но я крепко схватил его руку. В мгновение ока сержант оказалась в моих объятиях. От первого же поцелуя он растаял. Минут десять, если не больше, мы стояли и целовались. Руки мои тщетно пытались нащупать нечто напоминающее мужчину, и, наконец, наткнулись на нечто, напоминающее пипетку. Сей конфуз меня ничуть не расстроил, и я медленно ввел с таким трудом найденное себе в рот. Ноги его дрожали и подкашивались, еще бы минута — и уже мне пришлось бы выполнять роль фельдшера. Его спасла моя сообразительность. Я



« МИССИЯ »



вспомнил, что есть такая хорошая вещь, как «69». Мы улеглись валетом прямо на полу. Бедный Юрик так испугался, увидев перед своим носом то, что он никогда так близко не видел. Пересилив себя, он стал исправно вторить моим движениям...

Рано утром пришел доктор и увидел шикарную стенгазету. Она была сделана лишь наполовину, но даже в таком виде вызвала у лейтенанта чувство, похожее на экстаз. Так я второй раз за утро удостоился похвалы. Довольный, я отправился спать.

Юра опять разбудил меня. Он уезжал на неделю на учения и пришел уведомить меня об этом. Неделя эта тянулась для меня очень долго. Лишь мои подружки-стенгазеты спасали меня от депрессии. В назначенный день он не явился. Постепенно я сделал все, что доктору было нужно, и он стал готовить меня к выписке.

А между тем жизнь в санчасти шла своим чередом. Немного уставшие от службы сержанты и просто старослужащие гоняли молодых бойцов. Последние скоблили лезвиями туалеты, тщательно мыли палату сержантов, ходили на кухню за пищей. За малейшую провинность, типа отлучки в чайную без ведома сержантов, бойцы сразу получали по морде. Их настолько напугали не Бог весть чем, что жаловаться они боялись.

Я же откровенно скучал. Из-за того, что я был дружен с Юриком, меня не трогали сержанты и ненавидели бойцы. Фельдшера, на время заменившего Юру, я и близко не подпускал к своей заднице, мотивируя это тем, что он очень болезненно делает уколы. На самом же деле он был просто страшным и противным.

Только через семнадцать дней поздно вечером мой новый лавер появился. Первым делом он заскочил ко мне. Запылавшийся, грязный, красивый... От волнения он даже дорожную сумку снять, дурашка. В приказном порядке он на-

значил мне свидание через десять минут в душевой, ключ от которой был только у него.

Сначала он считал нужным смыть с себя всю грязь, я последовал его примеру, хотя таковая и отсутствовала. Потом мы долго-долго целовались под сильной струей воды. Когда я почувствовал, что он прокусил мне нижнюю губу, я предложил ему себя. Меня он с радостью взял, хотя я поначалу ничего и не почувствовал. Бедняжка, он так устал с дороги, что никак не мог кончить. Я предложил альтернативный и противоположный вариант, который, как ни странно, его тоже устроил. Малыш забился в конвульсиях, когда почувствовал неведомые до этого ощущения. Я не стал долго мучить его, и минуты через три мы уже снова мылись. Отдохнув, старший по званию, пользуясь служебным положением, опять изнасиловал подчиненного, который, впрочем, не очень-то и сопротивлялся.

Не знаю, то ли Юрик сильно пачкался на службе, то ли я сильно потел, но мы мылись каждый вечер. Так прошло полмесяца, и я не успел заметить, как выздоровел. Доктор тоже узрел этот факт и выписал меня.

Прощание с Юркой было недолгим, ибо я точно знал, что через пару дней опять чем-нибудь заболею.

ВНИМАНИЕ!

Редакция объявляет конкурс на лучшее литературное произведение на «тему» или про СПИД. Победителю — **grand-prix**, еще пятерым лучшим — просто **prix**. Объем шедевров не ограничен, единственное условие — они должны быть написаны разборчиво или напечатаны.

Можно также присылать фотографии и рисунки. Сразу предупреждаем, что ваши графоманские огусы возвращены не будут.

Напечатанные произведения будут омонориваться.

Адрес конкурса: Россия, 111123, Москва, Е-123, до востр. Прокофьеву А.М. с пометкой «Конкурс».

КУПАНИЕ

Синие брызги и солнечный свет.
Ярко пылает в траве горицвет.
Ветви умылись озерной водой.
Парень веселый и конь молодой.
Зеркало глади блестит и дрожит.
Стайка стрекоз над кувшинкой кружит.
Рыжая грива, высокий камыш.
Смех нарушает звенящую тишь.
Фыркает конь и ушами прыдет.
В воду все глубже и глубже идет.
Вспыхнули искорки в черных зрачках
Белая лилия в смуглых руках.
Белая лилия в гриве коня
Капают капли, блестя и звеня.
Танец кувшинок, тень ивняка.
Рыжую гриву ласкает рука
Выгнулась шея в полукольцо.
Тычутся губы в плечо и лицо.
Парень веселый и конь молодой.
Утро умылось озерной водой.
Ярко пылает в траве горицвет.
Синие брызги и солнечный свет.

/1978г /

**ЦВЕТОК, ВЫРОСШИЙ НА
СОРНОМ БУГРЕ**

На задворках, среди сора —
Огненный цветок.
Повернул горячий венчик
Прямо на восток.
Без ухода и надзора
Вырос, как сумел,
Чтоб прохаживать среди крапивы
Вырвать не посмел.
Виден он и не застенчив,
Только путь закрыт.
Он один такой красивый.
Бестолку спорит.

/1981г /

Всего хватило, через край досталось.
А к ранам все прикладывают соль.
Печаль в глазах, безверие, усталость,
И умиленность пьяная, и боль.
Стоит он, одинокий и продажный,
А жизнь скользит по лезвию ножа.
Как мутен взгляд... глаза желты и влажны.
И слабой искрой теплится душа

/1980г /

ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА

Все то, что стоит вне закона —
Запретная тайная зона
В углу от людей не укрыться
Ночь ставит печати на лица
А люди на выводы скоры.
И трудно уйти от позора.
Приятно обоим и грустно,
И кажутся высшими чувства
Но люди встречают с презреньем
И кажется все заблуждением.
Но Если душам не тесно —
В углу достаточно места
А тем, чьи скованы души —
И в поле раздольном не лучше

/1981г /

Золотые листья сгнили под осинкой,
Золотые листья сгнили на ветвях
Лишь один все тот же, золотой и ныне —
Лист сухой гербарный — хрупкий экспонат.
Чем он лучше братьев? Были и красивей.
Да гниют безвестно. А ему везет.
Лист гербарный, верно, всех других
счастливей?
Или, может, это, все наоборот?

/1982г /



Индуси 92



© «1/9». №2'92. Приложение к газете «1/10».

Перепечатка только с официального разрешения редакции. Ссылка обязательна.
Продажа лицам, не достигшим 18 лет, запрещена.

Цена договорная.

Газета зарегистрирована в Моссовете за № 265. Учредитель – Дм.Лычев.

Юридический адрес: Москва, 3-я Владимирская ул., 8-2.

Номер подготовили: Марк Залк, Антон Коршакофф, Дима Лычев, Денис Пестрецов,
Шурик Прокофьев, Томаш Радек.

Телефон редакции: (095) 3055737 (только по будним дням с 12 до 20 часов).

Адрес для писем: 111123, Москва, Е-123, д/в, Лычеву Дм. Валер.